

Илья Салов

**Мельница купца
Чесалкина**



Илья Александрович Салов

Мельница купца Чесалкина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=623665

Аннотация

«Утро было восхитительное; туман расстился над Ильменем, то поднимаясь и выказывая зеркало воды с разбросанными здесь и там камышами, то опускаясь пеленой и закрывая все от любопытного взгляда. Мельница и вообще все мельничное строение, в том числе и брусяной новенький флигель, отлично покрытый соломой, с резным крылечком и зелёными ставнями, смотрели весело и уютно, прижимаясь друг к другу, чтобы теплее было в это свежее осеннее утро. Громадные старые ветлы возвышались здесь и там, далеко раскидывая в воздухе свои чудовищные ветви. Лист на них уже желтел и, падая на землю, покрывал ее желтым ковром. Мужики, покрытые мукой, сутились вокруг мельницы, то взбегая по лестнице на вышку, то спускаясь вниз и исчезая в растворенной мельничной двери. Колеса шумели, сита дружно и торопливо стучали, как будто стараясь заглушить поспешный стук ковша...»

Содержание

Илья Александрович Салов

Мельница купца Чесалкина

Посвящается А. В. Зименко

Случалось ли вам когда-нибудь ловить, или, по местному выражению, бить рыбу острогой? Если не случалось, то я расскажу, как это делается. Острога есть нечто вроде небольших железных вил, на зубьях которых устраиваются бородки, какие делаются на удочках, чтобы рыба не соскакивала. Острога имеет три-четыре таких зуба, смотря по величине рыбы, которую намереваются бить, и насаживается на легкий шест аршина в четыре. Затем на носу небольшой лодки пристраивают железную решетку, на которую кладут смолье (так называют у нас сухие пни и корни сосновых или еловых деревьев), – и все готово. Ловлю рыбы острогой производят по ночам, обыкновенно осенью, когда водяные растения падают на дно и когда вода делается совершенно прозрачною. Я пробовал охотиться и летом, но выходило неудачно. Для охоты этой выбирают места неглубокие; лучше всего большие пруды, на которых есть мельницы и вода которых, вследствие этого, широко разливается по отлогим берегам. На таких прудах или озерах, глубина которых достигает не более двух-трех аршин, дно освещается великолепно, и вы отлично можете видеть спящую рыбу. Пристроив острогу и лод-

ку, вы берете с собой человека, умеющего управлять веслом, и, когда достаточно стемнеет, разжигаете наложенное на решетку смолье и тихо, осторожно выезжаете на добычу. Лодка должна плыть медленно, неслышно, чтобы шумом и плеском воды не разбудить рыбу. Тот, кто правит лодкой, садится на корму, а тот, кто с острогой, становится на носу возле огня и, держа острогу наготове, зорко смотрит на освещенное дно... И вот перед вами раскрывается весь подводный мир, со всеми его мельчайшими подробностями. То же самое озеро, в котором вы купаетесь каждый день, по камышам которого чуть не каждый день охотитесь по уткам, словом – то самое озеро, которое расстилается широкой серебристой скатертью перед окнами вашего деревенского дома и над поверхностью которого целыми стаями летают белые чайки, ловко выхватывая из воды мелкую рыбу, – вдруг преобразается во что-то незнакомое, таинственное, и вы невольно восклицаете: «Да что же это!.. где же я?..» Вы смотрите – над вами черное осеннее небо, кажущееся еще чернее от пылающего возле вас смолья. Вы оглядываетесь по сторонам, – и опять та же непроглядная мгла. Лодка движется медленно, но вам кажется, что двигаетесь не вы, а эти освещенные огнем камыши, тальники и водоросли. Иногда лодка врывается в густую группу камыша; вы подаете ее назад, и вдруг загораживает вам путь частый тальник. «А где же мы?» – говорите вы. Смотрите по сторонам, но мрак окутывает вас кругом. Вам видно только небольшое пространство, облитое пламе-

нем, вы видите лицо своего спутника – багровое, с блестящими глазами; видите лодку, чуть-чуть колыхающуюся воду, а внизу, тотчас же под лодкой, освещенное дно. Вот проползло растение, похожее на эйхгорнию, листовые стебли вздутые, наполнены воздухом; целый пучок корней пустило оно в воду. Это растение постоянно плавает... Вот на самом дне трава с тупыми сердцевидными листьями, расположенными кистями, весьма похожая на ализму; вот корни бодяги, покрытые паразитами; вот целая куча папоротников, и тут же, возле лодки, в воде, что-то вроде прямой палки, черное, неподвижное... Всматриваетесь и убеждаетесь, что это не палка, а спящая щука. Она стоит совершенно неподвижно, точно окаменелая, и кажется вам, что она почти на поверхности воды. Сердце ваше дрогнуло, руки затряслись, вы наводите острогу, осторожно погружаете ее в воду, приближаете как можно ближе к щуке, соразмеряете силу удара с пространством, отделяющим рыбу от остроги, делаете мгновенный толчок... Увы! на остроге нет ничего! Вы только зацепили и вытащили наружу водяную поросль, а щуки нет... Оказывается, что удар ваш был неверен; ваш глаз был обманут, и щука, которая казалась вам так близко стоявшею к поверхности воды, на самом деле стояла от нее аршина на полтора глубже. Ударом вашим вы произвели шум и переполошили все население озера. Камыши заколыхались, закрикали утки, с шумом поднялись с ночлега, и темный мрак ночи наполнился торопливым свистом их крыльев. Шарахнулась цапля,

вскрикнула чайка, в воде засуетились раки, метнулась щука; целая стая куличков-песочников испуганно пролетела почти над вашей головой; замахал над вами чибис белыми крыльями и в ту же минуту скрылся во мраке... Но вот мало-помалу все снова затихает. Вы слышали, как утки шлепнулись на воду, как опустилась цапля, как кулички просвистели, но уже далеко. Смотрите на воду, но и вода тоже успокоилась, круги улеглись, и снова она под вами раскинулась как зеркало. Вы плывёте на другое место. Под вами песчаное дно, все усыпанное раковинами; вы замечаете на песке бороздки, разбегающиеся в разные стороны: это – след переползавших улиток. Вот задорно стоит целая стайка ершей, но бить острой их не стоит, потому что рыба эта слишком мелка; вот маленький щуренок, неподвижно вытянувшийся, словно ткацкий челнок; а вот опять водяное растение, и на этот раз перед вами прелестная голубая роза. Это – одно из самых роскошнейших и красивейших водяных растений. Длинные листья его плавают по поверхности воды, и из середины их высовываются самые цветки. Но вы минуете их так осторожно, так тихо, что даже не потревожили ни одного листка. Вот прополз мимо камыш, вот куст тальника, вот на дне, точно исполинская пиёвра с растопыренными мохнатыми лапами, черная как уголь, лежит коряга; вы делаете знак гребцу, минуете это чудовище, смотрите зорко на дно, и опять перед вами щука... Снова делаете гребцу знак, лодка останавливается, острога пущена, и на этот раз она заметалась в руках

ваших, вы чувствуете тяжесть на ее зубьях, поспешно вынимаете острогу – и щука на дне вашей лодки!

Советую вам поохотиться с острогой, и если не чужды вы восхищаться картинами природы и хоть сколько-нибудь любите поэзию, то скажете мне большое спасибо.

На такую-то охоту звал меня однажды наш приходский дьякон, Иван Федорович Космолинский, торжественно объявив при этом, что накануне ездил с острогой пономарь Демьяныч и привез столько рыбы, что всех соседей до отвала ухой накормил, да еще лещей насолил кадушки две.

– Куда же мы отправимся? – спросил я.

– Конечно, на Ильмень, – отвечал дьякон: – чего же лучше! На Ильмене и Демьяныч охотился...

Но надо прежде всего познакомить вас с дьяконом.

Дьякон Космолинский, которого мы, прихожане, звали просто: отче, производил свою фамилию от греческого *космос* – мир и *лого* – говорю. Это был мужчина лет тридцати пяти, крепкого сложения, высокого роста, сильный и ловкий (ухватистый; как говорят мужики) и весьма приятной наружности. Нос у него был прямой, правильный, глаза голубые, а над довольно полными губами, из которых нижняя раздвоилась, красиво лежали белокурые усы; борода у него была тоже красивая, с мягкими волосами. Но более всего любил я дьякона за то, что он в душе был страстный охотник. Он непритворно сокрушался, что сан (слово это он произносил с какой-то особенной важностью) не позволяет ему охотиться

с ружьем, и всегда с восторгом вспоминал то время, когда он, бывши еще учителем приходского училища, щеголял в нанковом сюртуке и триковых брюках и в свободное время по целым дням шатался с ружьем. Нечего говорить, что дьякон любил рассказывать про свои охотничьи похождения. Рассказывал, как одним выстрелом убивал по нескольку уток, как однажды, стреляя по кулику, смертельно ранил волка, которого недели через две мужики нашли околевшим где-то в поле, только шкура уж не годилась, потому что сильно подопрела, и т. п. Страсть к ружью он не утратил, даже сделавшись дьяконом. Чистить ружья и набивать патроны было для него величайшим удовольствием. Как только увидит, бывало, ружье, так сейчас же начнет дуть в стволы и осматривать капсюли.

– А ружьецо-то того... подгуляло, – проговорит, бывало: – чистки требует!

И, сняв поспешно рясу, засучивал рукава, завязывал узлом волоса и, собственноручно притащив воды, начинал промывать ружье, и только тогда, когда убедится, что ружье чисто, он ставил его на прежнее место, проговорив:

– Sat, satis! ¹

Сопровождать на охоту в качестве зрителя было тоже его первейшим удовольствием. Он даже любил подавать убитую дичь, причем лазил в воду и не боялся ни простуды, ни раковин, ни змей, ни острого камыша.

¹ Довольно, достаточно (лат.).

– Да что вы не стреляете? – бывало, спросишь его.

– Нельзя! – отвечал он глубокомысленно: – сан не дозволяет! Сказано: ни единая тварь да не погибнет от рук твоих.

– А рыбу-то ловить разве не все равно? тоже – тварь.

– Нет, это – дело десятое! Все апостолы были рыбаки.

И действительно, дьякон, по примеру апостолов, был коренной рыбак. Отправиться в ночь куда-нибудь верст за десять с целой вязанкой удочек, с целью на излюбленном месте встретить зарю, было для него нипочем. Подоткнет, бывало, под кушак свое рыжее полукафтаные, надвинет на голову изодранную шляпенку – и марш.

– Далеко? – спросишь его.

– Под Шептаковку! Лещи икру начали метать, по камышам словно свиньи возятся, – сам видел!

А воротится, бывало, с пустыми руками.

– Где же лещи-то? – спросишь, бывало.

– Да что! Какая штука-то стряслась! вы послушайте-ка...

И начинает, бывало, рассказывать, какая стряслась с ним штука, а на поверку окажется, никакой с ним штуки не стряслось, а просто не было рыбы, да и лещей, возившихся подобно свиньям, он сам не видал, а поверил на слово какому-нибудь шутнику.

Тем не менее, однако, без отче и охота – не охота. И рыба не ловится, и дичи нет... Места, где держится рыба, он знал как свои пять пальцев. Первый сообщал всегда о прилете и отлете птиц. Подслушивал, где квохчут сомы, и сию же ми-

нуту летит с донесением: «Пойдемте, говорит, перемет ставить в Федотовой затоне. Сомы квохчут!»

Во время, рыбной ловли тут же на берегу варил уху и, надо сказать правду, варил великолепно, а главное, все это делал живо. Живо дров наберет, котелок приладит, рыбу пере-чистит, живо все это пристроит, не переставая в то же время следить за поплавками своих удочек, которых набирал всегда во множестве.

– Ну, ну, бери, что ли! – проговорит, бывало, поглядывая на удочки: – а то соскучусь, уйду! – И, смотришь, уговорил-таки, тащит какую-нибудь рыбу.

– Ишь, повел! Ишь, повел! – шепчет, бывало, поглядывая на удочки: – непременно лещ... Окунь, тот как собака хватает – с налету.

Словом, дьякон был молодец на все. Кроме рыбачества, он был мастер и мозоли вырезывать и выправлять ногти на ногах, если растут неправильно и впиваются в тело, умел стричь волосы под *гребешок* или *а ля полька*; комнаты оклеивать обоями, а уж в бане никто, бывало, не собьет так мыло, как он, никто так не нахлещет веником и никто так не натрет спину мочалкой, как он. Все косточки порасправит, все ребра переберет.

Бывало, засядешь с ним где-нибудь на берегу реки под тенью ивы (он и сиденье умел отлично устраивать; расковыряет, бывало, пяткой местечко для ног, нарвет лопухов, раздвинет камыш, и садись), закинешь удочки, а он начнет расска-

зывать разные анекдоты про семинарию, про монахов, про попов, про дьячка, обвенчавшего вокруг пенька в лесу какую-то свадьбу, – и не видишь, как время пройдет. Жадности, свойственной сану, он не имел, а потому дом его был постоянно неухожен; и скотины он не имел никакой, ни амбарчика, ни хлевушка, ничего подобного не полагалось, а был только один плетень, которым он обнес свой двор, да и с тем плетнем случился скандал. Дело было так: наколотил отче осенью ветловых кольев и, не облупив их, заплел плетень. Пришла весна, смотрит: колья пустили побеги, а к осени сделались пушистыми деревьями. Пришла другая весна, деревья снова зазеленели роскошной листвой, и вместо плетня оказался сад, а плетень стал приподниматься. Взял дьякон топор и давай рубить плетень, а деревья и до сих пор зеленой стеной окружают его хату и служат любимейшим пристанищем для хлопотливых воробьев.

Красноречием дьякон обладал замечательным и, начиная что-либо рассказывать, заторопится и так, бывало, все перепутает, что ничего не поймешь.. Однажды как-то сообщил он мне, как лихорадку лечить. «Как же?» – спрашиваю. «А вот как: надо взять полушубок, отрезать клочок шерсти и положить в стакан воды; если шерсть потонет – значит, деготь хорош, потом взять и выпить этот стакан меду. И шабаш, как рукой снимет!» Рассказы свои он обыкновенно начинал так: «Прихожу домой, дьяконица чай пьет; тебе налить, что ли, чайку-то? – спрашивает, Я выпил три ли, четыре ли чашки,

не помню, потом взглянул так в окошко», – и т. д.

Аппетит был у дьякона завидный. Побывать на двух-трех поминках, пропеть после блинов *чашу*, а затем раза два победать у *чистых прихожан* (так называли приходских дворян и купцов) – для него было сущим вздором. «Ничего, сойдет!» – скажет, бывало, и только губы у него пухли. На счет возлияния тоже был не дурак и пил без разбору все, что бы под руку ни попало, и безо всякой последовательности. После хереса водку, потом опять херес, опять водку, затем коньяк, пиво. Водку именовал он разными названиями: то называл ее: *розонбе*, то *гронзобель*, то *аква буянис*, то *брыкаловкой*, то просто *она...*

– Она манка! одну выпьешь, сейчас и на другую потянет!

Увели как-то раз у дьякона лошадь (как-то на грех завел). Утром спохватился – нет лошади! Начал ее разыскивать, бросился к соседям. – Так и так, братцы, помогите, лошадь у меня последнюю увели: нельзя ли как в погоню по разным дорогам! Поскакали мужики, скакали, скакали; к вечеру вернулись домой. «Как в омут канула! – говорят: – нет нигде, измучились скакавши!» Дьякон послал за водкой; нельзя же, надо было поблагодарить православных. Распили; дьяконица плачет, дьякон тоже призадумался. «Ты вот что, отче, – говорят мужики: – завтра чем свет катай в Чапушку к Пузанку, он те укажет, где твоя лошадь!» – «На чем катать-то!» – говорит уныло дьякон. «Вона, – галдят мужики: – да я с тобой поеду, да тот поедет!» Наутро действительно к

дьяконовской хате народу набрался целый содом. Тот привел лошадь, другой – лошадь, третий – лошадь – скачи на любой! Спорили, кричали: наконец запрягли сани тройкой, уселись; дьячок Константин Иваныч тоже присел, и поехали в Чапушку. «Надо бы выпить на дорожку! – молвил кто-то: – чтобы господь счастья послал!» – «Можно», – говорит дьякон. Завернули к кабаку, выпили и поехали. В Чапушке никакого толку не вышло. Ставил было дьякон Пузанку четверть, чтобы указал, где лошадь, но водку выпили, а про лошадь ничего не узнали. Распили еще четверть, послали за третьей, да так всю ночь и прокружили, и только уже на другой день воротился дьякон домой. Скачет тройкой с колокольчиками, с бубенчиками, дугу разукрасили красными платками, сам дьякон стоит в санях, обнявшись с дьячком, машут платками, поют песни. Да и не прямо домой поехали, а велели себя по улицам катать; народ думал, что свадьба гуляет, а оказывается, что это дьякон лошадь разыскивает. «Ну что, нашел, что ли, лошадь?» – спрашивают его, а дьякон и ухом не ведет. Рублей двадцать, говорят, стоил ему этот розыск, а лошадь, которой цена пять рублей, так и пропала, словно в омут канула. И с тех пор дьякон лошадей не заводил.

Этот-то самый дьякон пришел приглашать меня на охоту с острогой и сулил чуть не горы разной рыбы, ссылаясь на удачную ловлю пономаря Демьяныча. Нечего говорить, что, заручившись моим согласием ехать с ним на Ильмень с острогой, он принялся, со свойственной ему энергией рыба-

ря, приготовляться к охоте.

– Надо теперь, прежде всего, лодку где-нибудь расстараться, – проговорил он.

– У Демьяныча попросить; чего же лучше?

– Захотели!

– А что?

– Во-первых, он не даст, потому – собака, а во-вторых, ехать в ней все одно, что в этой шляпе. Нет, я затоплюсь к Даниле Седову, у него челночок важный, легкий...

И отче, стремительно бросился вон из комнаты; не прошло секунды, как он уже, широко размахивая руками, промелькнул мимо окна, крикнув мне:

– Паклицы на всякий случай прикажите приготовить.

Не успели еще принести требуемой дьяконом паклицы, идти за которой было недалеко, как я услышал под окном какой-то странный шум: не то вихорь налетел, не то в барабан барабанят; я оглянулся, а это дьякон уже лодку тащит.

– Вот и лодка! – крикнул он и вошел в комнату. Лицо у него было багровое, пот катился ручьями.

– Зачем же вы на себе притащили! – проговорил я: – можно было бы работника с лошадюю послать.

– Покамест ваш работник-то прособирается, я ее двадцать раз на себе приволоку. Ну, где же пакля?

– Послал, сейчас принесут.

– Кого?

– Карпа Галдина.

Дьякон бросился вон из комнаты.

– Вы куда?

– За паклей.

– Да ведь я послал.

– Карпа-то! – проговорил дьякон с презрением. И вышел вон из комнаты.

Минут через пять дьякон снова был уже возле лодки. Подмышкой торчал у него пучок пакли, а в руках колотушка и конопатка. Следом за ним, выпятив брюхо и переваливаясь с боку на бок, шел кривоногий Карп. На нем была из белых овчин шапка, из-под которой выбивались волосы беспорядочными прядями. По разинутым губам текли слюни, осовелые глаза глядели бессмысленно. Подойдя к лодке, он почесал в затылке и молча сел на землю, поглядывая на дьякона.

– Прикажете-ка смолы набрать! – крикнул дьякон и, поплевав на руки, принялся конопатить лодку, а шляпу бросил на землю.

– Карп! – крикнул я.

Карп вздрогнул и начал озираться кругом, не умея сообразить, кто и откуда зовет его. Наконец, увидав меня в окно, снял шапку и встал.

– Карп, ты с нами сегодня на Ильмень поедешь, – проговорил я: – лодку повезешь. Слышишь, что ли?

– Чую, – промычал Карп, почесывая живот. И, немного подумав, добавил: – А я было сегодня к девкам хотел у тебя попроситься: давно не был, захотелось повидаться.

Дьякон захохотал во все горло.

– Как, к девкам! – удивился я. – К каким?

– Да к дочерям своим.

– Нет, сегодня нельзя, завтра. А теперь ступай и приготовь смолья.

– Ну, ладно! – И Карп ушел.

Часов в шесть вечера мы были уже на пути к Ильменю. Лодка была взвалена на телегу, запряженную белой лошастью, которую Карп вел под уздцы, а мы с дьяконом шли позади. Вскоре были мы на месте, но так как не совсем еще стемнело, то пришлось ждать ночи.

Ильмень (название это в нашей местности дается всем большим прудам и озерам) был огромный пруд, походивший скорее на озеро. Пруд этот составлялся из нескольких небольших речек и ключей и затоплял водой не менее десятин пятисот плоских отлогостей, образовавшихся по берегам этих речек. Большая и длинная плотина удерживала эту воду, заставляя ее далеко разливаться. На плотине была мельница-крупчатка купца Чесалкина. Ильмень мне был очень знаком. Его болотистые берега, покрытые камышом, кустарником и лесом, служили пристанищем всевозможной дичи и круглое лето были самым любимым местом ружейников, которых, кроме меня да одного сельского учителя из семинаристов, не было никого. Мы были полными властелинами этой местности и бессовестно стреляли с самой ранней весны и до поздней осени. На пруде этом охотились мы и за

кряковой уткой, беспощадно истребляя задорных селезней, и по бекасам. В конце июня бог знает откуда налетали дупеля. «Осыпной дупель!» – как говаривал дьякон, так что убить пятьдесят – шестьдесят штук в одно поле считалось делом незавидным. Но охота эта продолжалась, к несчастью, всего дня три или четыре, а затем дупеля исчезали все вдруг, как по команде, неизвестно куда, так что еще вечерней зарей мы поднимали их десятками, а пойдешь на следующее утро, – ни одного. «Хоть бы перышко увидеть!» – говорил дьякон. Затем начиналась охота по молодым уткам. Уток на Ильмене были миллионы, начиная с самых мелких и проворных чирков и кончая самыми тяжеловесными, неповоротливыми кряквами. Стоило, бывало, выстрелить, как уток целые тучи поднимались. С криком и шумом начнут кружиться эти тучи над озером, то поднимаясь, то опускаясь, и, накружившись досыта, снова опускались в камыши.

По мере того как ночь сгущалась и приближалась минута охоты с острой, лицо дьякона принимало все более и более озабоченное выражение. Он то лодку осмотрит, то пощупает зубья остроги, то посмотрит на небо.

– Дождик не пошел бы! – проговорил я.

– Ну, зачем он пойдет.

– Тучи что-то забродили.

– Тучи – не беда; это еще лучше, потому что темнее будет!

Вот ветер бы не подул.

– А что?

– Волна будет – рябь.

– Вы водки не хотите ли выпить? – спросил я дьякона.

– *Же ве!*² – отозвался дьякон октавой, и мы выпили.

Между тем сумерки становились все гуще и гуще; лес темнел и замолкал; черной массой расстилался он вдоль озера, и только деревья, стоявшие на опушке, отделялись от этого сплошного темного фона. Почернело тоже и озеро. Все затихло, замерло, заснуло, и только сдержанный шепот камыша да порой дикий крик цапли нарушали тишину. Даже лошадь, привезшая лодку, и та перестала фыркать и жевать и, повесив голову, предалась сладкой дремоте. Одна только она выделилась своею белой мастью на черном фоне, со всех сторон нас окружавшем. Небо заволакивалось тучами все более и более, но зато ветра не было ни малейшего, так что даже зажженная спичка не гасла.

– Ну, теперь можно ехать! – прошептал дьякон, как будто боясь спугнуть эту мертвую тишину. – Карп, давай потихоньку лодку спустим.

Спустили лодку; что-то метнулось в воде и плеснуло.

– Щука! – еще тише прошептал дьякон.

Наложив в лодку охапки две смолья, дьякон зажег спичку, вынул из кармана клочок бумаги и принялся разжигать смолье. Раздался легкий треск, взвился клуб дыма, пахнуло смолью, и пламя охватило небольшой костер. И вот, среди этой тьмы, осветилось багровым светом лицо дьякона, раздував-

² *Хочу* (Je veux) (франц.).

шего смолье, его оборванная шляпа, бессмысленно-сонное лицо Карпа, нос лодки; осветилась куртинка камышей с наклонившимися початками, кусок берега... А зато кругом и небо, и вода, и лес, и деревья у опушки – все слилось в одно черное, непроглядное, даже белая лошадь исчезла...

Дьякон махнул мне рукой и жестами, как бы боясь разговаривать, указал место на корме, поручая мне управление лодкой, а про себя показывал, что он станет на носу с острой. Так как я не умел еще владеть острой, то поневоле, подчиняясь силе авторитета, повиновался и, взяв весло, уселся на корму. Дьякон забрался на нос.

– Ну, а мне-то тут чаво делать? – вдруг буркнул Карп.

Дьякон даже плюнул.

– Спи! – зашипел он и, кивнув мне головой, замер. Карп шагнул и пропал в темноте. Я оттолкнул лодку, и поплыли.

– Лево, лево! – шептал дьякон и, сняв шляпу и перекрестившись, стал в позицию.

Проехав некоторое пространство по камышам, мы выбрались на чистое место. Лодка двигалась медленно, по-черепаши; тишина кругом была мертвая, только смолье тихо потрескивало, обдавая нас пахучим дымом. Дьякон пригнулся и зорко смотрел на дно, держа острогу наготове. Я посмотрел вверх, посмотрел по сторонам – все черно, как будто густой, черной дымкой завешено и ревниво закутано от любопытного взгляда. «Нечего, мол, смотреть сюда: тут нет ничего, тут все исчезло, тут только один мрак и больше ни-

чего, а если хочешь видеть что-нибудь, то смотри вниз, – в этот круг, освещенный огнем». И невольно взор опускался к свету и жадно разглядывал таинственное подводное царство. Я смотрел в воду, но дна не было видно; изредка только попадались водоросли, чуть-чуть колыхавшиеся на длинных стеблях и, широко раскинув плети, как гигантские пауки, двигались они, словно стараясь поймать что-то своими косматыми лапами.

– Право, право! – шептал дьякон. – Тут глубоко. Мы плывем по руслу Ольховки. Право!

Я повернул направо, и, когда мы проехали немного, перед нами, словно по мановению волшебного жезла, поднялась целая стена камышей. Я остановился.

– Прямо, прямо! – командовал дьякон.

– Да куда же прямо! там камыши.

– Камыши эти не густые... прямо, прямо.

Я толкнул веслом, то есть, по совести сказать, лопатой, заменявшей весло, и лодка врезалась в камыши, отгибая их направо и налево. С криком, неподалеку от нас, поднялась стайка чирков и засвистав крыльями, улетела куда-то. Несколько горящих щепок, зацепившись за камыш, упали в воду и зашипели; весло стало уже доставать тину, я уже не огребался, а упирался им. Но вот камыш редет, мы выплываем на чистое место, и на этот раз дно осветилось со всеми мельчайшими подробностями. Дьякон подложил в огонь еще смолья, пламя на минуту уменьшилось, но огненные языки

охватили новое смолье, и свет разлился еще ослепительнее. Вдруг дьякон пригнулся, зорко взглянул в воду; острога метнулась у меня в глазах, раздался плеск, и огромная щука была на дне лодки.

– На то я и дьякон в Семеновке, чтобы щука не дремала! – проговорил дьякон и на этот раз уже не шепотом, а басом и захохотал во все горло.

Всполошились утки, закричали цапли, засвистали кулички, зашлепала в лодке щука, и в одну минуту все встрепенулось, проснулось и испугалось этого громкого хохота среди могильной тишины.

– Штука дельная ввалилась! – продолжал дьякон и, сняв с остроги рыбу, свернул ей голову и положил в лодку. – Ну, вы теперь так и держите все прямо!

Не успели проплыть мы и пяти саженей, как дьякон снова махнул острогой и вытащил линия. Охота становилась интересною, рыба попадалась поминутно, и дьякон редкий раз делал промахи. Он даже, желая щегольнуть искусством, выхватил рака, но в лодку его не положил, а, взяв за клешню, отбросил далеко, так далеко, что даже не слышно было, как шлепнулся он в воду. Мы все еще отдалялись от того места, с которого начали охоту, и, судя по времени, отъехали от него по крайней мере версты две. Было уже десять часов вечера, и надо было подумать о возвращении домой, но дьякон до того увлекся удачей, что даже забыл и думать об этом.

– Что вы! Господь с вами, с этих пор-то! Охота только что

начинается, а вы домой!— говорил он. — Катайте, катайте налево...

Я катал веслом, а дьякон острой и все лещей вытаскивал. Мы попали на такое место, где, кроме лещей, не было никакой рыбы, как будто оно исключительно принадлежало им, введено было им во владение, и никакая другая рыба не смела появиться в их царстве. Важно насупившись, стояли они и как будто нарочно подставляли свои жирные черные спины под зубья остроги. Даже мелкая рыбешка, до тех пор целой кучей следившая за лодкой, отстала и не смела проникнуть в этот захваченный лещами участок.

— Это — Харитонов затон, — говорил дьякон.

— Вы почему знаете?

— А потому, что лещ один.

— А затон этот далеко от нашей пристани?

— С четверть версты, не больше.

— Стало быть, мы уж назад повернули.

— Эко спохватились! давным-давно!

Прошло еще с час, и лодка наша была почти полна рыбой. Мы порешили ехать домой или, лучше сказать, к тому месту, где ждал нас Карп с лошадю. Закурив папиросы, мы поехали быстро, но камыши беспрестанно загораживали нам путь; приходилось их объезжать, вследствие чего плавание наше значительно замедлялось. Громаднейшие стаи уток с криком и шумом поднимались из камышей и производили в воздухе хаос. Подул ветерок, начал накрапывать дождик.

Прошло еще с полчаса, а мы все еще блуждали по камышам, словно по какому-нибудь парку, дорожки которого, разбегаясь в разные стороны, то выходили на открытую поляну, то снова поворачивали назад и вели бог знает куда.

– Уж так ли мы едем? – спросил я. – Не плутаем ли?

– Ну вот, отлично!

– Что-то долго...

– Да ведь если б мы прямо ехали, а то вишь как колесим!

– А скоро доедем?

Дьякон пригнулся и внимательно посмотрел на дно.

– Сейчас, – проговорил он.

– Почему же это?

– Дно песчаное, вот почему.

– Так что ж?

– А то, что мы плывем теперь к Гришовскому займищу.

Вертите вправо, и сейчас пристань.

Я повернул, но пристани все не было. Между тем ветер усиливался; тучи становились все чернее и спускались все ниже и ниже, так что зарево разведенного огня начало их освещать, и они, как облака дыма, неслись над нами. Камыш начал покачиваться... Прошло еще минут десять, а пристани все нет.

– Право, не плутаем ли, отче? – спросил я.

– Да нет же! Слава богу, не в первый раз... Поди, озеро-то это я знаю вдоль и поперек.

– Да ведь ничего не видно.

– Постоите! – проговорил дьякон. И, став на ноги, он приложил обе ладони ко рту и закричал страшнейшим басом:

– Ка-а-а-арп!

Но, вместо Карпа, откликнулась стая гусей, с шумом поднявшаяся из камышей.

– Карп! – продолжал кричать дьякон.

Я остановил лодку.

– Ка-а-арп! Черт! откликнись.

Но Карп не откликнулся.

– Ка-а-арп! дьявол! Где ты? Провалился, что ли?

И действительно, Карп, должно быть, провалился, потому что отклика не было и только один свист крыльев наполнял воздух.

– Непременно спит, дьявол! – проворчал дьякон и снова принялся всматриваться в дно.

– Вертите назад, – крикнул он немного погодя.

– Зачем назад?

– Вертите.

– Куда же мы приплывем?

– Да вертите, знай. Видите, здесь глубь какая; мы опять по руслу реки плывем! Видите, вода назад течет, значит и нам надо назад.

– Так ли?

– Господи боже мой! – рассердился дьякон. – Неужто я не знаю!

– Не лучше ли нам к Макарову плыть, да там на мельнице

у Чесалкина переночевать.

– Вот это хорошо! Отсюда до Макарова, вы знаете, сколько будет?

– Не знаю.

– Ну то-то же и есть!.. Отсюда до Макарова верст семь будет.

– Так где же мы?

– Вертите назад – вот и все!

Я повернул, и на этот раз дьякон уже не спускал глаз со дна. Мы переплыли глубокое место и снова выехали на мелкое. Вдруг дьякон махнул рукой, засуетился, схватил острогу и прошептал: «Сом!»

Я остановил лодку, дьякон приподнялся на ноги, пригнулся, навел острогу, размахнулся, ткнул острой в воду, но острога вдруг переломилась, дьякон потерял равновесие, лодка перекувырнулась, горевшее смолье зашипело, и мы очутились по пояс в воде. Огонь погас, мрак окутал нас со всех сторон.

– Сом! – проговорил дьякон, но тут уж было не до сома. Я ухватил опрокинувшуюся лодку, как-то нечаянно наткнулся на весло, которое тоже забрал, и решительно не знал, что мне делать.

– Где мы? – спросил я.

– В воде!

– Да где, на каком месте?

– А дьявол знает, где! – проговорил дьякон каким-то мо-

гильным голосом. – В этакую темень, прости господи, разве увидишь что-нибудь. Давайте-ка спичку, надо огонь развести.

– Спички-то в кармане, а карман в воде.

– Теперь и рыбу-то всю растеряешь! – и он начал водить руками по воде, стараясь отыскать наловленную рыбу, но ее не было... Вдруг раздался колокол. Мы притихли. Удар в колокол повторился и как будто в нескольких шагах от нас.

– Это в Макарове, – проговорил дьякон. – Колокол макаровский!

Действительно, колокол был макаровский!

– Ну что же теперь делать? – спросил я.

Но дьякон, вместо ответа, схватил лодку, опрокинул ее на воду, выплескал всю воду, схватил меня в охапку, посадил в лодку, приказал перегнуться направо, а сам с левой стороны влез в лодку, уселся на корму и, взяв весло, так начал грести, что лодка мчалась как стрела. Минут через пять в темноте заблестел огонек, сначала маленький, как булабочная головка, а по мере приближения к нему все увеличивавшийся. Зачернели какие-то строения, послышался шум падающей воды, стук колес... Мелькнуло мимо какое-то громадное дерево, другое, третье, послышался лай собак, и лодка наша, вылетев до половины на берег, врезалась в песчаную отмель.

Мы были на мельнице купца Чесалкина.

– Ну что? – спросил я дьякона. – Сколько верст до Макарова?

Но дьякон не отвечал. Он вытащил на берег лодку, пощупал, не осталось ли хоть сколько-нибудь рыбы и, убедившись, что в лодке рыбы не было, молча зашагал на светившийся из окна огонек. Я пошел за ним. Немного погодя мы были у Чесалкина.

– Господи Иисусе Христе! – воскликнул, крестясь, Чесалкин, встретивший нас в прихожей со свечой в руке и смотря на наши жалкие фигуры. – Истинный бог, мать пресвятая богородица, не узнал! Что это? Откуда вы?

– Из воды! – ответил я.

Чесалкин только голову опустил, схватив себя за бороду.

В прихожей в одну минуту образовалась лужа воды. Дьякон был зол. Молча уселся он на коник, повел кругом глазами и, увидав на вешалке мерлушчатый халат и стоявшие в углу резиновые калоши, принялся стаскивать с себя сапоги, брюки, полукафтаны, рубашку и, оказавшись совершенно голым, надел халат и калоши, а затем принялся выжимать свою одежду. Немного погодя и я очутился в купеческом платье, а наше было отправлено в кухню для просушки.

– Пожалуйста! пожалуйста! – говорил между тем Чесалкин, приглашая жестом руки войти в залу, освещенную керосиновой лампой. – Чайку не прикажете ли, а покамест водочки – согреться. Истинный бог, это очень полезно!

Дьякон крякнул.

– Эй, Матреша! – продолжал Чесалкин, отворив дверь в сени: – поскорей самовар согрей, да принеси-ка сюда водоч-

ки, да огурчиков, что ли, накроши на закусочку... Скорей, скорей!.. Уж извините, – прибавил он, обращаясь к нам: – не взыщите, чем бог послал.

Мы вошли в залу. Это была небольшая комната, теплая, светлая, чистенькая. Брусяные стены ее были нештукатурены, меблировка купеческая. В переднем углу – высокий киот с образами в золотых и серебряных ризах и в массивных позолоченных рамках с причудливой резьбой; перед иконами теплилась лампадка. Возле киота, по стенам, развешены картинки духовного содержания: эпизоды из жизни Сергия Радонежского, какого-то схимника, принимающего в своей келье императора Александра I перед отъездом его в Таганрог; картинка, изображавшая старца Саровской пустыни Серафима, кормящего в лесу медведя, и прочее. У левой стены помещался длинный, неуклюжий диван, перед ним овальный стол, тяжелый, массивный, из красного дерева, накрытый пестрой салфеткой. Над диваном два масляные портрета: супруги Чесалкина, а сбоку масляный же портрет какого-то фертом подбоченившегося гусара в старинном гусарском мундире. Подальше, в углу, шкаф, сквозь стеклянные двери которого выглядывала разная чайная посуда и несколько серебряных ложек. На окнах торчали: герань, бальзамины и, конечно, плющ, расправленный по стенам. В комнате пахло кипарисом и деревянным маслом, но зато в ней было так тепло, что мы с дьяконом, прозябшие и промокшие, словно в рай попали.

Семен Иваныч Чесалкин был купец плотный, приземистый, с коржавым лицом, почти сплошь заросшим волосами (у него даже на носу росли волосы), кудрявый с проседью, носивший ряд посредине головы, но весьма редко причесывавшийся и заменявший гребенку руками. Узкие глазки его, со складочками близ углов, так и бегали в разные стороны и как-то особенно лукаво выглядывали из-под мохнатых бровей (точно мышонок из норки). Сюртуки носил он длиннополые, всегда замасленные, штаны, однако, выправлял, как он выражался, *на улицу*. На шею накручивал большую шелковую грязную косынку черного цвета. Семен Иваныч был настоящий православный, богомольный, усердный; в церковь ездил всякий праздник и становился обыкновенно на левом клиросе; крестное знамение начинал с макушки и, перенеся руку на живот, на мгновение приостанавливался, крепко прижимая пальцы к животу, затем быстро перемахивал справа налево, наклонял голову, а немного погодя поднимал ее, смотрел на самые высокие образа, что-то нашептывал и затем снова начинал с макушки. После возгласа священника, во время великого выхода: «Вас и всех православных христиан да помянет господь бог во царствии своем», Чесалкин довольно громко говорил: «Священство твое да помянет господь бог во царствии своем», причем наклонял голову и растопыривал руки, немного относя их назад. Молебны и панихиды служил он беспрестанно, поминки справлял чуть ли не каждую неделю, причем съедалось и выпивалось

валось всякой всячины видимо-невидимо; под конец же, достаточно понабравшись, он вместе с духовенством становился перед иконами и пел *чаши*, причем присутствующих обносили чашей с сытой из меда.

Нечего говорить, что все окрестное духовенство, которое, кроме того, снабжалось от него и мукой и отрубями, чтило его и после каждой обедни преподносило ему просфору. Вероятно вследствие этой-то набожности Чесалкин божился поминутно, и божбу эту произносил так: «Истинный бог! Мать пресвятая богородица! Николай-угодник!» – причем, когда был дома, указывал на киот, в котором помещались означенные иконы в том самом порядке, в котором он их поминал, крестился и как будто хотел этим выразить: «Вот, дескать, и свидетели есть, если вы мне не верите».

Купечество тоже не менее святых отцов уважало Чесалкина и, несмотря на то, что ему было за пятьдесят, называло его отличным парнем, хозяйственным человеком и всегда почти прибавляло при этом: «*И чудак-голова!*» И действительно, Чесалкин был *чудак-голова*, по крайней мере умел при надобности прикинуться таковым. Кроме мельничного дела, то есть перемалывания разных сортов крупчатых мук, Семен Иваныч занимался прасольством³ и ежегодно, перед наступлением весны, отправлял своих ребят, то есть сыновей, в орду или на Дон для закупки рогатого скота, который перегонял к себе, нагуливал, а затем осенью или бил его (это он на-

³ *Прасольство* – оптовая торговля скотом, мясом, рыбой.

зывал свежевать скотину), или живьем отправлял в Москву, и постоянно жаловался, что несет убытки и что год *надо бы хуже, да некуда*.

– Истинный бог, мать пресвятая богородица и Николай-угодник, убытки, верно говорю вам, убытки, *операция* самая нестоящая. Истинный бог, доложу вам, скотина к ножу пришла в столько-то рублей! Вот и выручайте, как знаете. Говорю вам, истинный бог, все это бросить надоть – одно слово! Только вот привычка! Как мы мужики есть, словом дурачье... вот одно!

Голос у Семена Иваныча был зычный, и потому на базарах, которые в Макарове бывают очень людны, как только Семен Иваныч начнет божиться, так божба эта разлеталась по всем концам базарной площади, и тарханы ⁴, заслышав ее, скалили зубы: «Ну, дескать, Семен Иваныч пшеничку покупает!» И действительно, смотришь, поймал Семен Иваныч какого-нибудь мужичка и торгует у него пшеничку. В это время Чесалкин – сам не свой. Машет руками, вспрыгивает на воздух, кричит, божится, крестится, ругается, хлопает мужика по ладони, называет его то православным, то татаринном, на котором креста нет, то родным, то любезным, то свинойей, снимает при этом шапку, с сердцем бросает ее об землю, хватает под уздцы лошадь, заворачивает ее по направлению к мельнице. Мужик и руками и ногами, – не тут-то было. Чесалкин оборачивает к себе мужика спиной, отмечает у

⁴ *Тарханы* – то же что прасолы, но помельче.

него на полушубке мелом, за какую цену сладил пшеничку, и по затылку гонит его с базара на мельницу.

– Вези, там примут и разочтут! – Мужик, с цифрами на спине, отправляется на мельницу, а Чесалкин переходит к другому возу, и повторяется та же история, только пот градом льет с него, какой бы мороз ни был.

– Ну уж базар только задался! – проговорит, бывало, Чесалкин, возвратясь домой. – Сорок потов с потом сошло, истинный бог, сорок!

Между тем Матреша, которая оказалась самой толстой Матреной с рябым лицом и бельмом на глазу, как будто в глазу у нее торчала, вместо зрачка, оловянная солдатская пуговица, успела уже поставить на стол графинчик с какой-то бурой настойкой и тарелку с крупно накрошенными солеными огурцами. Чесалкин зажег две стеариновые свечи, чинно до того времени стоявшие на столике перед зеркалом, и поставил их по бокам графина с водкой.

– Пожалуйте-с, – проговорил он, налив три огромные рюмки, и жестом руки указал на них.

Мы выпили.

– Майская, – проговорил Чесалкин. – На майских травах настоящая, самая целебная, от пятидесяти пяти недугов помогает.

И затем у нас пошла беседа.

Чесалкин говорил без умолку. Начал спрашивать нас про нашу рыбную ловлю, много ли наловили рыбы (причем

дьякон еще пуше разозлился), не было ли особых каких приключений, как будто злодей не видал, в каком явились мы виде! Затем начал рассказывать про свое житье-бытье, про убытки, про то, скольких он родственников лишился и похоронил на свой счет, не считая двух умерших жен, которых тоже похоронил благородно, как следует, ничего не требуя от их родителей, которые, если бы имели совесть, все-таки должны бы были помочь. Как он мужиков любит, хотя их, мерзавцев, по правде сказать, и любить-то не за что, потому что готовы снять с тебя последнюю рубашку (причем взял себя за борт сюртука и показал, как это делается), и, наконец, кончил тем; что следует опять выпить, и налил опять три рюмки.

– А что это у вас за портреты? – спросил я, взглянув на два женские портрета.

Семен Иваныч глубоко вздохнул и сложил руки крестобразно на груди.

– Это-с – покойница первая супруга моя, Агафья Семеновна, – царство ей небесное!

– Оба портрета ее?

– Оба-с. Вот на этом-с они были еще невестой. Вот, изво-лите видеть, и надпись есть: *посягаю*, и он провел пальцем по надписи. А на эфтом-с они изображены уже после бракосочетания (должно быть, с недельку опосля писан был) и по этому самому надпись: *посягнула*. – Чесалкин опять вздохнул и добавил: – славная была дама! Истинный бог, вот вам

мать пресвятая богородица и Николай-угодник, таких дам нынче не найти-с. Пожалуйте еще по одной-с. За упокой души, царство небесное!

Выпили и помянули.

– А где же теперешняя жена ваша? – спросил я.

Чесалкин только рукой махнул.

– Там, на другой половине-с! – проговорил он. – Да что! никакого толку нет, хворает все. Все одно что холостой али вдовый! Истинный бог, все одно!

– Что же с ней? – спросил я.

Но Чесалкин, вместо ответа, указал на дьякона.

– Вот спросите отца дьякона, – проговорил он. – Отче знает, а мне тяжело говорить. Истинный бог, мать пресвятая богородица, тяжело, а вот спросите его. Он священный сан носит и не солжет, а мне тяжело, потому – конец мне известен.

– Чахотка с ней, – промычал дьякон.

– Ну, вот-с, – подхватил Чесалкин: – верно-с, и доктор Бегучев тоже определил так-с. А вот покойница, вторая супруга моя, Дарья Федоровна – та, напротив того, от водянки скончалась. Все, значит, разными болезнями мрут. Одна худеет, другая пухнет.

Чесалкин опять вздохнул и, посмотрев еще раз на портрет своей первой супруги, проговорил:

– А уж до этой, до Агафьи Семеновны, обеим супругам моим далеко, как кулику до Петрова дня! Истинный бог!

Потом, вдруг обернувшись на одной ножке к дьякону, он

добавил:

– Отец! ты и живописца-то знаешь, который эти самые патреты писал.

– Почему я знаю! – буркнул дьякон.

– Вот те здравствуй! – подхватил Чесалкин. – Зубриловского-то живописца не знаешь, Ивана-то Ефимича?

– О, знаю! – проговорил дьякон. – Его господа все Иоганниус Ефимиус зовут.

– Ну, вот, вот он самый. А вот это, – проговорил Семен Иваныч, указывая на портрет гусара: – это – покойник Алексей Семеныч Хабебулов, князь... Турецкого происхождения, говорят, был, но добрейший барин, царство ему небесное. Покойник здесь в Макарове постоянно жил, и кости свои тут сложил. Ну, а сынки-то не полюбили что-то Макарово. Приезжали года три тому назад, пробыли дня четыре и опять уехали. Один из них анженером где-то служит, слышно, дорогу железную ведет, а другой по судейской части, в окружном, значит, суде где-то. Ловкие хваты такие. Приехали, сейчас дом продали на слом, роща перед домом была хорошая, липовая, дорожки по ней при покойнике были разбиты, беседочки, разные настроены... рощу эту тоже на сруб продали. Я было торговал ее, да не пришлось дело; а дорожке всех давал, истинный бог, дорожке всех!

– Отчего же они вам не продали?

– Не потрафил им маленько, они и не продали.

– Чем же не потрафили?

– Да вот через эту самую мельницу, чтобы ей пусто было! Показалось им, изволите видеть, что я дешево арендую ее (мельница-то их). Ну, они и призвали меня к себе. Так и так, говорят, дешево ты мельницу у отца снял; возьми, говорят, отсталого; нарушим контракт... А я говорю: как же так? мне ведь десять лет еще держать ее... И не согласился; они и осерчали.

– А вы сколько платите?

– Пять сотенных.

– Ну, конечно, дешево!

Семен Иваныч даже с места вскочил и подбежал к образнице.

– Истинный бог, мать пресвятая богородица и Николай-угодник, хотите верьте, хотите нет... Самая эта мельница не стоит того, чтобы ею заниматься, – пустое дело! А так, значит, привычка, – привык к здешнему месту; опять и супруги здесь обе похоронены; ну, и храм божий близко, участочек земли свой неподалеку... А кабы не это, бросил бы все давно... пропади она пропадом! Ведь мне и перед князьями-то совестно было, отказать-то, то есть, как стыдно было, истинный бог, стыдно! Ну, так стыдно, просто лучше бы сквозь землю провалиться! Эх, года-то, сударь, не те, что прежде были. Прежде мужик-то сам с хлебом набивался, а ноне ты сам поезжай к нему, да еще когда-то его, жиды, с печки стащишь! Истинный бог, правду говорю. Пшеничка-то, – глядеть на нее не стоит, а он гнет цену, как за

хорошую. Плунешь да и пойдешь! – И Семен Иваныч действительно плюнул и показал, как он от мужика уходит. Но, дойдя до двери, он быстро обернулся.

– Пожалуйста! – проговорил он, наливая рюмки.

Я отказался.

– Еще по одной-с!

– Нет, благодарю, не могу.

– Ну, ты, отец! – проговорил Семен Иваныч, обращаясь к дьякону.

Дьякон вдруг захохотал и подошел к столу. Развеселился, значит.

– Ну, уж доложу вам, ваше высокоблагородие, – заговорил Семен Иваныч, обращаясь ко мне и показывая на дьякона рюмкой: – редкостный дьякон у вас, краса церкви, истинный бог, краса церкви. Хоть завидовать и грешно, а я завидую.

Дьякон захохотал еще громче и выпил рюмку.

– По мне, – продолжал Чесалкин: – в службе нет того приятней, как чтобы дьякон был басистый, да чтобы звон хороший был... певчие тоже... Вот уж насчет этого помянешь покойника князя! Любил он это, царство ему небесное! – И Семен Иваныч выпил. – Да ты, отче, – обратился он вдруг к дьякону: – застал что ли его, али нет?

– Еще бы! Служил сколько раз при нем, – проговорил дьякон, окончательно забывший уже про неудачу: – раз он мне даже как-то бычка подарил. Вот, говорит, у тебя голос как у быка, – так и дарю тебе бычка.

И оба захохотали.

– Чудак покойник был, царство ему небесное! – проговорил Семен Иваныч, перекрестившись и подойдя ко мне: – раз какую, доложу вам, штуку отмочил.

Дьякон даже вперед захохотал, как будто заранее знал, какую отмочил он штуку.

– Был он, доложу вам, охотник большой, и борзые собаки были у него редкостные.

– Это вы про охотничий праздник рассказать хотите? – перебил его дьякон.

– Да, да.

Дьякон опять захохотал.

– Ну вот, хорошо-с. Пришло первое сентября, а у охотников день этот на манер праздника считается, потому что с этого самого числа начинают с собаками охотиться. Зазвал к себе покойник соседей. Ну, конечно, все съехались; только, видят, у крыльца целый табун мальчишек крестьянских. «Это – что такое?» – спрашивают гости. «А это, – говорит князь, – борзые собаки будут...» Подали закуску, выпили на порядках и начали собираться в поле, и даже не заметили, что князя нет. Садятся на лошадей, а вместо борзых Ильюшка – охотник был у князя, каждому на сворку по два мальчика дал. «Что такое?» – думают гости. Однако выехали на зеленыя и стали ровняться. Ильюшка едет сбоку. Вдруг остановил лошадь и поднял арапник. «Ат ту его! кричит. Аа-ту его!» Подозрил, значит, зверя и махает господам шапкой,

чтобы заезжали, значит, кругом. Господа окружили... Смотрят, белеется что-то в озимях и таится. Ильюшка подъехал к этому месту... «Ату его!» да как хлопнет арапником – князь и выскочил! А это он, наместо зайца, залег в одном нижнем белье, с позволения сказать! Как пошел, как пошел по полю наш князь, мальчишки за ним, он от них, бежит, бежит, да вдруг кверху махнет и опять пустится. Мальчишки начнут настигать, совсем уж схватить норовят, вдруг князь бац на землю, мальчишки через него кубарем, а он опять назад лупит! Илья на лошади скачет, «ату, ату, ату его!» – кричит! Уж мотал, мотал князь этих мальчишек; наконец сгрудили они его, повалили и давай тянуть кто за руку, кто за ногу, а Илья соскочил с лошади, выхватил из-за пояса бутылку рому и прямо горлышком князю в рот, приколол, значит! А господа-то стоят и помирают со смеху. Истинный бог, правду говорю!

Дьякон хохотал уже давно, поджав живот руками, и почти к коленам пригнул свое лицо.

– Вот какой был чудак покойник. А уж собак любил до страсти; в особенности один кобель у него был, Полканом звали...

– Дымчатый! – подхватил дьякон.

– Раз этого кобеля волк было утопил.

– Как так? – спросил я.

– Да так. Волка в реку загнал, вцепился ему в горло, и пошла потеха. То Полкан окунет волка, то волк Полкана, то

Полкан верхом на волке, то волк на Полкане... Брызги летят в разные стороны. А покойник стоит на берегу, схватив себя таким манером за волосы, топает ногами и кричит: «Десяти тысяч не возьму с тебя, подлеца, коли утопишь Полкана!» Однако вытащил Полкан волка на берег, пригнул к земле, и князь зарезал его,

Вошла какая-то худая, бледная женщина, накрытая платком, отперла шкафчик, погремела ложечками и, закашлявшись, опять ушла куда-то.

– Третья супруга моя! – проговорил Чесалкин, кивнув головой на дверь, в которую ушла женщина,

– Она очень худа, – проговорил я.

– А какая дама была! – вздохнул Чесалкин: – белая, румяная, кровь с молоком... Груды были – вот! – и Чесалкин показал, какие были у его третьей супруги груды. – А теперь куда все девалось! А уж как пела прекрасно, голос какой был, тоненький да звонкий. Я, знаете, любитель пения, истинный бог, любитель, а теперь вот лишился этого удовольствия... Изволили слышать, как кашляет? И кровью харкает.

И он развел врозь руками, потом перекрестился, вздохнул и, указав на образа, проговорил:

– Покорюсь! Буди его святая воля, поклонюсь! истинный бог, поклонюсь! потому, значит, ничего не поделаешь!

Вошла Матреша и подала чай.

– Перед чаем-то? – проговорил Чесалкин, наливая водки.

Я отказался.

– Ну-ка, отче, протащим!

– За упокой, нешто, князя?

– Царство небесное! – проговорил Чесалкин, перекрестился и выпил. – Доброй души был человек, – начал он, взяв стакан чая: – никому, кажется, зла не сделал, окромя того, как всем благодетельствовал! Огнем ли господь кого накажет, лошадь ли у кого околеет, семян ли нет у кого, – сейчас всего даст. «На, говорит, бери, собачий сын, поправляйся! Поправишься – отдай, смотри, а не отдашь, так подавись»... Истинный бог, правду говорю! Зато уж и тужили все, когда он помер... Народищу этого привалило на похороны! Со всего, кажется, округа собрались... Да ведь ты, кажется, был, отец, на похоронах-то?

– Еще бы! и первенствовал и псалтырь над ним читал! – проговорил дьякон, с достоинством растопырив усы.

– Никак церквах в пяти сорокоуст был заказан.

– В шести! – перебил дьякон.

– И все больше мужики! Не поверите ли, целыми обществами заказывали! Уж нечего, надо правду сказать, добрый был человек, даром что чудака. Чего! – вдруг вскрикнул Чесалкин: – меня было раз арапником выпорол, истинный бог, так; уж кое-как отделался!

– За что же? – спросил я.

Но Семен Иваныч только рукой махнул: долго, дескать, рассказывать, а что было, то прошло!

В это время пробило двенадцать часов, глаза у меня за-

крывались. Я попросил позволения лечь и дать мне подушку. Но дело вышло не так. Семен Иваныч бросился за перегородку, крикнул Матрешу, еще какого-то парня в муке, кинулся в сени, и суматоха пошла на весь дом! Семен Иваныч воротился, отодвинул стол, на котором стояла водка, причем по дороге выпил с дьяконом по рюмочке (чтобы не расплескались, значит); парень в муке приставил к дивану несколько стульев; снова вошла супруга Семена Иваныча, позвенела ключами, пощелкала замками и ушла, а Матреша тащила между тем такой величины пуховик, что насилу с ним в дверь пролезла; взвалила пуховик на диван, а Чесалкин, успевший уже сбегать за перегородку, накрыл пуховик чистой простыней, приказал Матреше живой рукой тащить подушки и одеяло, и вот как будто по волшебству в каких-нибудь пять минут передо мною как из земли выросла постель, пуховик которой возвышался до самых портретов Агафьи Семеновны, с надписями: «посягаю» и «посягнула».

– Чайку еще не прикажете ли? – приставал Чесалкин.

– Нет, благодарю.

– Ну, водочки на сон грядущий! Уж извините, больше просить нечем.

– Нет, и водки не хочу.

– Ну, а мы как, отче? – спросил Семен Иваныч и подмигнул.

– Ничего.

– Значит, можно.

– Даже должно.

– Так давай чокнемся.

Чокнулись и выпили.

– Мы теперь, дьякон, с тобой пойдем спать на мою половину. Там и тепло и не дует.

– Это ничего. Теперь недурно лечь на ложе беспечности и на подушку упования!

– Только ты, никак, без сорочки?

– Как есть в чем мать родила!

– Ну, я тебе дам свою, пойдем... Графинчик-то захвати, может пригодится. Мы еще с тобой *чашу* споем.

– И это можно, – проговорил дьякон, забирая графин и рюмки.

Семен Иваныч потушил лампу и, пожелав мне покойной ночи, ушел с дьяконом. Вошла Матреша, что-то сунула под диван и скрылась. Немного погодя я лежал уже, как говорит дьякон, на ложе беспечности и на подушках упования и, откровенно сказать, ничуть не досадовал, что это ложе состояло из мягкого пуховика и таковых же подушек. Я потушил свечу, и все затихло. Только снаружи доносился шум падающей на колеса воды да хлопанье мельничных сит. Изредка вскрикивали гуси.

Несмотря на усталость, я проснулся довольно рано, потому что насколько купеческие дома щеголяют пуховиками, настолько же диваны их изобилуют клопами. Разыскав свое платье, которое, как оказалось, уже просохло, я оделся и вы-

шел на воздух. Утро было восхитительное; туман расстилался над Ильменем, то поднимаясь и выказывая зеркало воды с разбросанными здесь и там камышами, то опускаясь пеленой и закрывая все от любопытного взгляда. Мельница и вообще все мельничное строение, в том числе и брусяной новенький флигель, отлично покрытый соломой, с резным крылечком и зелёными ставнями, смотрели весело и уютно, прижимаясь друг к другу, чтобы теплее было в это свежее осеннее утро. Громадные старые ветлы возвышались здесь и там, далеко раскидывая в воздухе свои чудовищные ветви. Лист на них уже желтел и, падая на землю, покрывал ее желтым ковром. Мужики, покрытые мукой, суетились вокруг мельницы, то взбегая по лестнице на вышку, то спускаясь вниз и исчезая в растворенной мельничной двери. Колеса шумели, сита дружно и торопливо стучали, как будто стараясь заглушить поспешный стук ковша. Возле хлебных амбаров, покрытых железом, стояло несколько возов с пшеницей; приказчик насыпал пшеницу в меру, ставил на косяки мелом кресты и палочки и выкрикивал: пятая, шестая, седьмая! – а мужики таскали пшеницу в амбар.

Я пошел к озеру и немного погодя был возле нашей лодки; штук пять огромных лохматых собак стояли поодаль и лениво лаяли, посматривая на меня. Но что за великолепная картина была передо мною! Что за прелесть это громадное озеро, берега которого покрыты густым лесом, а хвост которого сливался с горизонтом. Что за оригинальные гли-

нистые, красного цвета, горы на левой стороне, и как оригинально раскинулось на них село Макарово с старинной церковью. Но селения собственно теперь не видно, оно задернуто туманом; зато церковь возвышается над ним и кажется, будто стоит на облаках. На гравюрах, издаваемых Киевской лаврой, часто встречаются такие рисунки. Но вот туман исчезает, и открывается село Макарово, изрытое оврагами и зеленеющими садами. А вот, должно быть, и то место, на котором была когда-то усадьба князя Хабебулова. Именно это и должно быть оно, потому что виднеется остаток какого-то флигеля с одними стропилами, вместо крыши, и с окнами без рам, точно какой-то остов! Неподалеку от него кирпичный фундамент, наполовину развалившийся, из середины которого торчат три-четыре печи. Перед фундаментом, по склону горы, на пространстве двух-трех десятин, торчали пни от срубленного парка, которым когда-то любовался и тешился этот князь-чудак, скакавший зайцем, и о котором мужики целыми обществами служили сорокоусты.

– Чья это усадьба? – спросил я бабу, подошедшую к озеру за водой, показывая ей на развалины. – Не князя ли?

– Яво! – отвечала баба и, почерпнув ведрами воды, подцепила их коромыслом, положила коромысло на плечо и, степенно переваливаясь, пошла по направлению к мельнице, оставляя на песке огромные следы лаптей.

Я тоже пошел за ней, но едва только поднялся на плотину, как услышал шумный говор мужиков, покрываемый зычным

голосом Семена Иваныча, кричавшего что было мочи:

– Истинный бог, мать пресвятая богородица и Николай-угодник! – говорю вам – недосуг, недосуг, приходите вечером, обиды не будет никакой!

– Нет, ты все-таки тово! – шумели мужики: – ярлычки нам выдай!

– Истинный бог, говорю – вечером.

Подойдя к мельнице, я увидел Семена Иваныча в мерлушчатом нанковом халате, в котором вчера щеголял дьякон, окруженного мужиками. Мужики галдели, шумели, а Семен Иваныч посреди их, оборачиваясь то на ту, то на другую сторону, божился, подняв руки кверху, и как будто скидывался на воздух. Дьякон стоял на крылечке и, прислонясь к колонке, грыз подсолнечники, далеко отплевывая скорлупу,

– Истинный бог! – раздавалось в воздухе.

– Нет, все-таки ты нам тово, ярлычки выдай...

– Мать пресвятая богородица! галманы ⁵ вы, проклятые, черти окаянные, истинный бог, черти! Говорят, вечером!

И, увидав меня, Семен Иваныч растолкал мужиков и подошел ко мне.

– Пожалуйте-с, – проговорил он: – самоварчик кипит.

– Что это у вас тут за шум? – спросил я.

– Да так, ничего-с. Истинно говорю, кажется, никакого бы жалованья не взял, чтобы с этими мужиками разговаривать. Верите ли, вот вам истинный бог, даже в глотке пересохло!

⁵ *Галман* – олух, грубиян, невежа. Употребляется также в смысле однодворец.

Мужики все шумели.

– Да что такое? – спросил я.

– Не стоит рассказывать, истинный бог, не стоит-с, потому что мне стыдно; вот вам мать пресвятая богородица, стыдно беспокоить вас этими самыми пустяками!

И, сложив на груди крестом руки, Семен Иваныч наклонил голову и сделал продолжительный поклон – извините, дескать, за беспокойство! Но потом вдруг, как бы опомнившись, схватил маня под руку и проговорил:

– Пожалуйста чай кушать, не стоит этими мужиками заниматься!

Но мужики все не унимались, залезли в сени и подняли шум в сенях, поминая все какие-то ярлыки, и только тогда шум затих, когда Семен Иваныч, выведенный, наконец, из терпения и совершенно застыдившийся меня, приказал молодцам прогнать их и объявить, – пускай, дескать, вечерком зайдут.

Через полчаса, напившись чаю, мы с дьяконом стали собираться домой. Семен Иваныч предлагал нам заложить лошадку, но так как утро было превосходное, то мы и предпочли плыть на лодке. Нашу благодарность за ночлег Семен Иваныч и слышать не хотел и, зажав уши, говорил:

– Я, истинный бог, должен благодарить вас, а не вы меня! я должен благодарить вас, я, я, что не побрезгали мной, мужиком, ведь мы, – мужики-с, чего мы понимаем! Вот вам мать пресвятая богородица, ничего мы не понимаем, как

есть мужики, право, не лгу.

И, сложив руки, стал с нами раскланиваться и даже проводил нас до лодки.

Немного погодя мыплыли уже по озеру к тому месту, откуда вчера отправились на ловлю. Грести стал дьякон, и поэтому лодка наша неслась птицей.

– Ну что, пели вчера *чащу*? – спросил я.

– Всего было! – отвечал он и захохотал.

– А *розонбе*?

– Нет, уж мы после на наливку налегли.

– Усердно?

– Ничего, бутылочки, должно быть, три-четыре разгрызли. Потом кизлярки, должно быть, с полбутылки осушили!

– А голова не болит?

– Ну! мы, чай, уж поправились сегодня.

– Как, успели уж?

Но дьякон вместо ответа опять захохотал.

– Да когда же? – допрашивал я его.

– Много на это времени надо! Вы когда на крыльцо-то вышли, мы уж по четвертой протаскивали, а покамест у озера-то стояли, еще по две чебурахнули!

И опять дьякон захохотал.

– А из-за чего мужики-то шумели?

– Да видите ли, – начал дьякон: – пшеницу они ссыпали, а за расчетом он велел им вечером прийти – ну, они и просили, чтобы он им ярлычки выдал покуда.

– Из этого только?

– Только и всего! И чудак только!

– Кто?

– Да этот Чесалкин! Вчера, как вступило ему в чердак-то, он и давай жену с постели подымать...

– Да ведь она больна?

– Ничего, – говорит, – вставай, поразвеселись, спой песню!

– И пела?

– Пела. Пой, – говорит, – повинуйся, – я глава твоя!

– И что же?

– Ничего, одну песню пропела, а другую уже не могла, закашлялась очень, и кровь горлом пошла... Вот, говорит, отец, смотри, какое мое есть счастье на свете! И заплакал. Должно быть, говорит, это она последнюю песенку сыграла! И опять заплакал, а ее на руках вынесли.

– Да что же я не слышал ваших песен?

– Да ведь мы ушли в приказчиный флигель!

– И жену туда?

– И ее туда.

Карп данный ему приказ исполнил в точности, то есть преспокойно спал себе вверх брюхом на телеге и даже не слышал, как мы подплыли к берегу. Немного погодя, взвалив лодку на телегу и заложив лошадь, мы отправились домой.

Прошло с неделю после описанного; входит ко мне дьякон. Лицо его было озабоченно, даже что-то важное проглядывало в нем. Не поздоровавшись, он подал мне какую-то

бумажку,

– Это что такое? – спросил я.

– Почитайте-ка.

Я развернул бумажку. Это была повестка мирового судьи, которую вызывался я в суд в качестве свидетеля по делу о нерасчете купцом Чесалкиным крестьян деревни Потрясовки за купленную пшеницу.

– И мне такая же! – проговорил дьякон, когда я прочел повестку. – Давайте ехать, разбор сегодня.

Я приказал заложить тарантас, и вскоре мы были уже у судьи, до камеры которого было версты три.

Усадьба судьи была совершенно новенькая, с иголки, как говорится, да и сам судья был тоже человек новенький, с иголки, так как недавно акклиматизировался в нашей местности, женившись на вдове нашего землевладельца и вследствие этого получивши ценз. Все в усадьбе смотрело чисто, аккуратно. Все крыши были выкрашены яркой красной краской и как будто покрыты лаком (я и краску такую видел только на игрушках). Соломенных крыш и плетней не полагалось. Домик судьи имел вид шале⁶, тоже с красной крышей и резьбой на карнизах и балкончиках, выкрашенной под дуб. Над балкончиками, которых было несколько, были натянуты парусинные с фестонами навесы, набрасывавшие приятную тень. Перед домом – садик, обнесенный зеленой решеткой, с правильно разбитыми, утрамбованны-

⁶ *Шале* – небольшой сельский домик (от франц. chalet).

ми и усыпанными золотистым песком дорожками и с красиво стриженными деревцами. Здесь и там пестрели клумбы цветов. Перед балконом небольшой фонтанчик, бассейн которого окаймлялся кольцом из разноцветных диких камней. Флигеля, конюшни и каретный сарай были покрыты финляндскими крышами (или, как здешние плотники называют, *вихляндскими*, вероятно производя это название от глагола вихлять). Крыши эти тоже были окрашены красной краской и как будто покрыты лаком. Неподалеку от дома были устроены качели и гимнастика. По двору ходили куры, превосходные брамапутры, и тоже как будто были раскрашены. У колодца кучер в белом чистом фартуке и шерстяной фуфайке (какие в Петербурге носят дворники) поил отличного серого жеребца с прочными ногами и энергичным взглядом. Возле каретника другой кучер, тоже в фартуке, мыл щегольской, совершенно новенький фаэтон с ярко блестящими фонарями. Словом, на что бы вы ни взглянули, на всем был отпечаток чистоты, опрятности и доброкачественности. На крыше флигеля, в котором помещалась камера, красовалась вывеска с орлом, гласившая золотыми буквами: *камера мирового судьи 6-го участка*. Затем на входных дубовых и покрытых лаком дверях медная блестящая дощечка с надписью: *вход в камеру мирового судьи*. В сенях, вдоль стен, были расставлены выкрашенные под дуб скамьи, висело зеркало с подзеркальным столиком, но гребешка и щетки не было, по тому случаю, что их постоянно воровали посетители. На стенах,

в хороших дубовых рамочках, были развешаны разные объявления, между которыми особенно бросались в глаза: *судебные сроки, такса о поправах, правила об охране лесов от пожара* и затем писанное прекрасным почерком объявление: *прием прошений, кроме табельных и праздничных дней, ежедневный, равно и разбор дел. Суд правый, скорый и равный для всех.* Над дверью, ведущей из сеней в камеру, – опять дощечка, на которой по белому фону написано голубой масляной краской и славянским шрифтом: *камера.*

– Это он все сам рисовал, – проговорил дьякон шепотом.

– Что? – спросил я.

– Да вот все эти вывесочки и объявляница, все сам судья. Почерк у него великолепный, кисточек сколько разных, красок...

Судья разбирал уже какое-то дело. Чесалкина не было, а мужики, которых я видел на мельнице, сидели в тулупах и сердито посматривали в угол, ожидая очереди. Судья был молодой человек лет тридцати, с прекрасными бакенбардами и довольно приятным лицом. Он был в форменном фраке, из-под темно-зеленого воротника которого выглядывали ослепительной белизны воротнички сорочки. Знак на нем был густо вызолочен и как-то особенно красиво лежал на его плечах. Говорил он ровно, баритоном и смотрел прямо в глаза допрашиваемому. На судейском столе стояла прекрасная чернильница с часами и Фемидой, стакан со множеством карандашей и перьев и судебные уставы с 10-м томом. Прошло

с полчаса, явился и Чесалкин в лисьей шубе. Войдя с шумом в камеру, он приостановился, обвел кругом глазами и, увидев икону, засучил правый рукав и начал креститься; затем, выйдя на середину камеры, сделал глубокий поклон судье, а потом, обернувшись, трижды поклонился публике и сел на скамью. Увидав меня, он мигнул по направлению к мужикам, помотал головой и, перекрестившись, пожал плечами. Удивляюсь, дескать, истинный бог, удивляюсь!

Дошла очередь и до нас. Опросив нас с дьяконом, не родня ли мы тяжущимся, не имеем ли с ними тяжebных дел и прочее, судья попросил нас выйти в свидетельскую комнату, на дверях которой была вывесочка: *комната для свидетелей*. Несмотря, однако, на то, что дверь была затворена, голос Чесалкина раздался так же ясно, как будто он был в одной с нами комнате. Мужики рассказывали, все разом, как было дело, как ссыпали они пшеничку, по сколько каждый, как его степенство посулил расчесть их вечером, как они просили его выдать им покамест ярлычки, чтобы не с пустыми руками оставаться, как он отказал им в этом при свидетелях (причем помянули нас), и как, наконец, приходили они вечером на мельницу и не дополучили по пятьдесят копеек на каждую четверть. Рассказ этот Чесалкин поминутно прерывал и кричал, что мужики все врут, что расчел он их честно, благородно, что других денег платить не намерен. Как судья ни старался уговорить Чесалкина не перебивать крестьян, как ни предостерегал его, что в противном случае он

будет оштрафован, Чесалкин даже и не слышал ничего: кричал, божился; кричали и мужики, и шум пошел такой, что судья хоть бросай все и беги вон. Наконец призывали меня.

– Что вам известно по этому делу? – спросил судья. Но не успел я, как говорится, рта разинуть, как Чесалкин уже кричал:

– Расчел честно, благородно... Истинный бог, вот вам мать пресвятая богородица и Николай-угодник! Я бы с них тысячи рублей не взял, чтобы вас беспокоить, и чтобы рядом стоять-то с этими паршивцами...

– Чесалкин, предупреждаю вас вторично... – начал было судья, но Чесалкин продолжал:

– Тысячи рублей не взял бы! Истинный бог, не взял бы за срамоту за одну, за эту самую, что я рядом стою с этими поганцами...

– Господин Чесалкин, я... – проговорил было судья.

– И что из-за них, из-за плюгавых, – перебил его Чесалкин: – благородных людей беспокоят... Истинный бог, тысячи рублей не возьму! – И Чесалкин, обратясь лицом к публике, а к судье спиной, начал жаловаться публике на паршивцев, которым и цена-то вся – грош железный.

– Господин Чесалкин! я штрафую вас на тридцать копеек, – поторопился проговорить судья: – за нарушение тишины в камере.

Чесалкин обернулся к судье и, приложив руку к сердцу, почтительно поклонился.

– Благодарю вас, господин мировой судья, – проговорил он. – Истинный бог, благодарю за ваше ученье, потому что так и надо учить нас, мужиков. – И, достав два пятиалтынных, положил их на стол. – В расчете-с! – проговорил он.

А мужики все разом кричали:

– Все знают, как ты рассчитываешься! Знают все, кого ни спроси! Ты и здесь-то вон как орешь, слова никому не дашь выговорить, а там, у себя на мельнице-то, ты – воин!

Наконец судья кое-как водворил порядок; все замолкли, и очередь дошла до меня. Я рассказал, что знал. Затем был вызван дьякон. Он был бледен как полотно, и на вопрос судьи, что он знает по настоящему делу, начал рассказ свой с того, как мы поехали на рыбную ловлю, сколько наловили рыбы, как увидел он сома, как обломилась острога и мы полетели в воду. Как ни уговаривал его судья перейти к делу, дьякон продолжал повествование, как мы попали на мельницу купца Чесалкина (умолчал только о выпитой водке и наливке) и, наконец, добравшись до дела, объявил, что он ничего не знает.

– Верно, верно, истинный бог, верно! – зашумел Чесалкин: – вот отец дьякон – сан священный носит, он не покривит душой. Рассчитался честно, благородно, всех до копейки рассчитал. Вот вам пресвятая богородица, истинно не лгу, рассчитался как следует.

Мужики загалдели, Чесалкин начал кричать, и шум опять поднялся страшный. Судья опять принялся унимать.

– Какие же у вас есть доказательства? – спросил он мужиков. – Купец Чесалкин должным себя не сознает.

– Не сознаю, это верно-с! – перебил его Чесалкин: – потому я расчелся...

– Есть у вас какие-нибудь ярлычки, что ли? – допрашивал судья.

– Не дал он нам ярлычков... Вот и свидетели...

– Да зачем же мне вам ярлычки давать, – закричал Чесалкин: – коли я вам денежки выдал?

– Расписок нет ли каких-нибудь? – продолжал судья.

– Есть и расписки! – закричали мужики и обернулись к судье спинами.

– Это что же такое? – спросил он.

– А то, что на спине отмечено у каждого, сколько пшеницы ссыпано.

– На спине, значит, расписывался! – сострил кто-то в публице, и в камере раздался дружный хохот.

– Смотри, ребята, как бы с вас пошлин гербовых не присудили за то, что расписка не на гербовой бумаге писана, – сострил еще кто-то, и хохот увеличился еще более.

– Прошу не нарушать тишины! – проговорил судья, возвысив голос, и потом спросил: – Вы миром не покончите ли дело?

– Я с большим моим удовольствием! – закричал Чесалкин: – я с ними и не ссорился, истинный бог, не ссорился и даже сейчас не серчаю... Что ж, я готов простить их.

– Мы готовы мириться! – кричали мужики: – пусть отдаст нам наши деньги: вот те и мир будет!

– Нет, уж это вы не хотите ли вот чего! – прокричал Чесалкин и, помуслив большой палец правой руки, показал им кукиш: – нет, уж это – покорно благодарим. Этак то вы больно богаты будете... облопаетесь неравно!

– Садитесь! я пишу решение! – объявил судья.

Тяжущиеся сели, но утомонились не скоро и продолжали перебранки. Наконец устали и замолчали. В камере водворилась тишина, и только торопливый скрип судейского пера нарушал ее. Чесалкин сидел, облокотясь на колена, и помахивал шапкой; пот катился с него ручьями. Наконец судья пригласил всех встать и прочел решение, которым определил: по неимению у истцов никаких доказательств, в иске им отказать. Затем объявил о праве обжалования решения апелляционным порядком и о сроках. Мы вышли из камеры.

– Вот-с, видели! слышали! – кричал на дворе Чесалкин. – Вот они каковы-с! Истинный бог, мать пресвятая богородица, всех подлецов до копейки расчел, а они в камеру ташат, отрывают от умирающей супруги... Они, галманы паршивые, того и знать не хотят, что теперича, по ихней милости, мне, может, с женой проститься не придется.

– Разве жена ваша плоха очень? – спросил я.

– Исповедали и причастили, а сюда поехал – соборовать стали.

И он пошел по дороге к селу. Вслед за ним пошли и му-

жики.

– Креста на тебе нет! – шумели они.

– Мерзавцы вы паршивые! галманы пустоголовые! – гремело в воздухе.

Вышел судья из камеры, с сигарой в зубах и в войлочной, последнего фасона, шляпе.

– Как поживаете, отец дьякон? Давно я вас не видал! – И, любезно приподняв передо мною шляпу, он направился к дому. Навстречу выбежали из дома дети.

– Папочка, ты кончил судить? – прозвенели их тоненькие голосочки.

– Кончил, друзья мои, кончил! – проговорил судья и вместе с детьми вошел в дом.

Мы сели в тарантас и отправились домой, и только когда мы выехали в поле, на душе стало легче. Вот роскошное зеленое поле, засеянное рожью, вот загон с копнами овса, которых замучившийся полевыми работами мужичок не успел еще убрать на гумно; вот блеснула река, вот показалась рошица, восхитительная березовая рошица с белыми стволами деревьев и с темно-зелеными листьями... Так бы и смотрел все на эту картину! Так бы и дышал все этим воздухом.

Дня через три умерла жена Чесалкина. Он отгадал, сказав дьякону, когда пировали они в приказчиьем флигеле, что она последнюю песенку сыграла.